

*А. Л. Устименко, Д. Л. Устименко\**

**СОЗНАНИЕ СМЕРТИ В МИРОСОЗЕРЦАНИИ  
С. Н. БУЛГАКОВА:  
ЛИЧНЫЙ И ДОГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ**

В статье рассматривается танатологический аспект жизни и мысли С. Н. Булгакова. Показывается, что проблема смерти пронизывает жизнь и творчество русского философа. Обращаясь к автобиографическим работам, можно видеть масштаб присутствия смерти в детстве Булгакова, то, как она уносила жизни его многочисленных братьев и сестер, деда, отца и матери. Смерть объявляется им «воспитательницей», ностальгическим источником религиозного философствования. Особую драматическую силу в судьбе Булгакова имеет смерть сына Ивашки, сыгравшая, возможно, роль в его повороте к христианству и священству. В статье отмечаются аспекты духовной смерти в творческом пути философа, его отношение к революции 1917 года в России. В работе затрагивается вопрос «софиологии смерти» Булгакова, отмечается, что ее спецификой является построение кенотического богословия, в том числе на основе собственного антропологического переживания смерти.

**Ключевые слова:** С. Н. Булгаков, смерть, любовь, софиология, Бог, человек, кенозис.

*A. L. Ustimenko, D. L. Ustimenko*

**CONSCIOUSNESS OF DEATH IN THE WORLDVIEW OF S. N. BULGAKOV:  
PERSONAL AND DOGMATIC ASPECTS**

The article deals with the thanatological aspect of S. N. Bulgakov's life and thoughts. The work proves that the problem of death pervades the life and work of the Russian philosopher. When turning to autobiographical works, one can see the scale of the death presence in

---

\* Устименко Алексей Леонидович, кандидат философских наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани; ustimenko2010@rambler.ru

Устименко Дмитрий Леонидович, доктор философских наук, доцент, СКФ МТУСИ (Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики, г. Ростов-на-Дону); UstimenkoD2006@yandex.ru

Bulgakov's childhood, as it claimed lives of his many brothers and sisters, grandfather, father and mother. Death is declared by him as a «teacher», a nostalgic source of religious philosophizing. A special dramatic force affected the fate of Bulgakov was the death of his son Ivashka, which probably induced his turn to Christianity and priesthood. The article notes aspects of spiritual death in the creative path of the philosopher, his attitude to the revolution of 1917 in Russia. The work also touches upon the subject of «sophiology of death» elaborated by Bulgakov, noting as its specificity the construction of kenotic theology on the basis of his own anthropological experience of death.

**Keywords:** S. N. Bulgakov, death, love, sophiology, God, man, kenosis.

Феномен смерти является значимой проблемой для русской религиозной философии. Представления Н. Ф. Федорова о том, что «человек есть существо погребающее» [14, с. 217], работы «Жизненная драма Платона» Вл. Соловьева, «Momento mori» Л. И. Шестова, «Поэма о смерти» Л. П. Карсавина говорят сами за себя. Шедевры философско-психологической прозы, вскрывающие глубины мыслей и чувств человека стоящего на пороге смерти, оставили нам не раз сами встречавшиеся со смертью лицом к лицу русские писатели Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов и Л. Н. Толстой. В унисон философской традиции Вл. Соловьев констатирует: «Мир весь во зле лежит; тело есть гроб и темница для духа; общество есть гроб для мудрости и правды; жизнь истинного философа есть постоянное умирание» [13, с. 606]. Но в плеяде русских философов, осмыслявших эту проблему, фигура С. Н. Булгакова особо показательна. Его личное соприкосновение со смертью и трагическое ее переживание само по себе заслуживает историографического внимания. Мы затронем только некоторые его литературно-биографические и богословские открытия по поводу смерти.

Обозревая его творчество в целом, нельзя не заметить, что идея смерти является ключом к его полноценному пониманию. В этой связи мы хотели бы апробировать два тезиса, пристрастных, но тем не менее требующих рассмотрения. Первый: жизнь, интеллектуальные искания, политико-идеологические переходы, духовные трансформации, священство, философия и богословие имеют у С. Н. Булгакова танатологические истоки. Противоречивый характер и личности, и творчества Булгакова обусловлены как насыщенной сложностью его конкретной судьбы, начиная с детства, события которой он со свойственной ему впечатлительностью принимал близко к сердцу, так и историческим драматизмом, развернувшимся в череде революций, войн, катастрофизме народной судьбы, что также переживалось и выражалось им очень болезненно. И если смерть понимать не отвлеченно — только в виде физического факта, «происходящего с другими», где она «может быть уподоблена научно характеризуемому состоянию вещей, как функция жизненно-опытного состояния», но глубже — субъективно, где «она предстает также и как чистое событие, чьи составляющие распространяются на всю жизнь» [10, с. 206], духовно, как проявляющуюся в постоянных смертях близких, болезнях, падениях, страданиях, то жизнь Булгакова вполне можно интерпретировать кенотически, в категориях нисхождения, отступления, искания — смерти в ее подлинно философском смысле. Но этому сопутствует и второй, не менее значимый тезис: смерть для Булгакова является не безвыходной констатацией удела человеческой жизни, скорее, наоборот — верой в бессмертие, Воскресение Христово; в своем со-

кровенном сердечном зове к Богу он до конца дней боролся и, нужно думать, победил смерть.

Сознание смерти есть перманентный, сквозной тренд мировосприятия Булгакова, долженствующий быть преодоленным. Танатология у него уступает Эросу, хотя и не высветляется им до конца. Так, его философский дискурс, вращающийся в пределах рациональной методологии И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля и содержащий определенную «гносеологическую» тяжесть, оставляет густую тень разума на сопротивляющейся ему вере, и тем не менее он не затеняет общего тона его верующего православного мироощущения. Или софиология — это особая тема, могущая рассматриваться как определенное философско-эстетическое, концептуальное прельщение, едва ли добавляющая новый смысл в ортодоксальное христианское понимание. Понятно, что эти дискурсивные и далеко не случайные для С. Н. Булгакова вещи хотя бы опосредованно не могли не отразиться на его догматической интерпретации смерти, сразу скажем, несущей в себе в том числе его собственные переживания. Именно в этой биографической и мировоззренческой перспективе можно и нужно воспринимать творчество Булгакова, то, как он сознавал не только физическое присутствие смерти, но и смерть имперской России или догматически объяснял софиологию смерти и ее преодоление.

Обратим особое внимание на исторически-судьбоносные факты жизни Булгакова. В этой связи его работа «Автобиографическое» является удивительно прямым и простым приглашением в собственное внутреннее интимное мироощущение. «Автобиографическое» наполнено глубокой ностальгией, оно обращено к воспоминанию о детстве. Чувствуется желание возвращения, которое в действительности и произошло: в Париже он умер при Сергиевом храме, Сергиев храм — основной храм Ливен Орловской губернии, место детского приобщения к христианской традиции. Нежно он описывает родную природу — простую, тихую, скромную! «Все, все мое — *оттуда*. И, умирая, возвращусь — *туда же*, одни и те же врата — рождения и смерти» [1, с. 64]. Он вспоминает деревенские храмы, кладбище, смиренного отца священника, нервную курящую мать, безденежье, ссоры — и смерти, многочисленные смерти, посещавшие их семью. Он задает вопрос: «Смерть никого не минует, но почему же *тогда*, в эти ранние годы, она миновала дома наших сверстников и сродников, но ангел смерти неотступно стоял над нашим домом?» [1, с. 75]. Первым потрясением явилась смерть деда, «патриарха», от паралича, затем многих братьев и сестер. «Наша семья состояла из родителей, братьев и бабушки. Все они, кроме двух братьев (меня и Лели), и умерли в нашем доме» [1, с. 72]. Умирали от голода, чахотки, «русской слабости»: «Алкоголизм скосил две молодые жизни (моих братьев, по-своему трогательных и благочестивых) в нашей семье» [1, с. 72]. Родители пытались посредством рождения новых детей победить смерть, но умирали и эти.

Младший мой брат Миша, робкий и кроткий ребенок, также погиб от чахотки (через две недели после Володи) в Ливнах. У меня и сейчас через 40 лет глаза застилают слеза, когда я вспоминаю его святую, прекрасную смерть. Как ангел он был послан отряхнуть сокровище своей смерти в мою душу, пред тем, как уйти из мира. Это было ночью. Явно началась агония. Все встали, окружили

его, и отец начал читать отходную (это для всех явилось так естественно). «Это — отходная?» — спросил Миша и затем начал прощаться со всеми, выразительно каждого целуя. И меня поцеловал так... Он особенно хотел, чтобы я был около него, когда я был полон собой, только собой... Он тихо отошел, и было светло таинство смерти [1, с. 74].

Булгаков отмечает, что это было уже в юношеском возрасте, но и в детстве смерть стояла к его семье очень близко, никогда не отходя.

Один за другим умерли два маленьких «Кузи» (в честь деда Косьмы Сергеевича). Мама не хотела уступить смерти, и после смерти одного Кузи наименовала тем же именем другого ребенка, но умер и этот. Помню ночь с детским мертвым телом в доме, и ее плач, ночные воющие звуки... Это вкралось в сердце каким-то зовом и страхом, и грозной памятью о вечности <...>. Но самая тяжелая рана была смерть Коли, прелестного, умного, одаренного мальчика в пятилетнем возрасте, общего любимца, с печатью херувима, предшественника нашего Ивашечки [1, с. 75].

Примечательно, что Булгаков интерпретировал эти смерти как некую жертву ради него, ради его философского и богословского дара.

Все это — Ливны. Сокровище моей души. Капли небесной росы, которые падали в себялюбивое, но все же не мертвое сердце и, прожигая его, ложились в него бриллиантами. Сейчас кажется, что все они не для себя умерли, а для меня умирали, как какая-то жертва любви ко мне. И не явится ли за гранью земной жизни явью эта тайна любви... [1, с. 75].

Да, смерть была его «воспитательницей» в родном доме, как много было в нем смерти: «прямо какой-то Египет». И в итоге он отмечает, что

изломанными и таинственными путями Бог дал мне и вторую родину — Крым, но это не вторая, а тоже единственная, но которая явилась мне в другом образе славы и также с ангелом смерти. Только там родина, где есть смерть. И потому последнее слово о родине — о смерти. Ливны запечатлены и освящены могилами отца и матери [1, с. 77].

Детство, почти сплошь состоящее из невосполнимых горьких потерь близких людей, в котором неизбежное «жало» смерти перечеркивало, а значит, и превосходило горячую радость рождения, сформировало мирозерцание личности Булгакова. По его же вышеупомянутому признанию, он был достаточно холоден, замкнут, самолюбив. И очень сосредоточен и серьезен. По этому поводу есть подтверждающая характеристика, данная ему в свое время его учителем В. В. Розановым: «Я знал его, этого сурового марксиста, еще на гимназической скамье, в Ельце. Он был из города Ливен, сын тамошнего протоиерея. Сильный крепыш, суровый, угрюмый. Он никогда не улыбался, не шалил» [9, с. 99]. Несмотря на такое детство, как ни странно, Булгаков через разочарование учебной семинарией уходит от христианской веры в марксизм. Наступает период экономизма, философии хозяйства, разуверения в Церкви. В этом можно видеть особый «момент» смерти, своего рода измену своим корням, духовное предательство, а позже — ненависть к царю, к самодержавию

и эмоциональное восхищение революцией, хождение под транспарантами. Однако осознание и этой «богооставленности» тоже вскоре произошло.

Что касается марксизма, то сам С. Н. Булгаков уже в зрелом возрасте, называя себя «левитом», не мог объяснить свое раннее неверие. Но как раз с марксистской точки зрения все объяснимо: борьба за счастливую жизнь, желание «изменить мир» к лучшему, «пойти другим путем» — решить проблему бедности, болезней и самой смерти способом социального уравнивания. В этом плане его судьба аналогична судьбе Достоевского. И именно этот аспект перехода мысли показывает Вл. Соловьев в статье «Три речи в память Достоевского» [13, с. 297]: от желания внешнего революционного переустройства общества до осознания внутренней духовной природы всех явлений, личной и исторической жизни. Подобные гештальты взросления, преодоления настоящей идейной смертности проходил и Булгаков. И в итоге — логичное разочарование в марксизме, который, провозглашая всеобщую справедливость, в реальности осуществляет себя далеко от ее идеалов. Имеется немало свидетельств самого философа о том, как он после массовых демонстраций, в часы революций чувствовал себя обманутым и, приходя домой, растаптывал «красную тряпку». Марксизм, следовательно, после возврата Булгакова в лоно Церкви, тоже может быть рассмотрен танатологически, учитывая не только заложенный в нем атеизм, но и прямое переосмысление философом значимости роли интеллигенции в социальных процессах («Веги») и позднее осознание значимости царизма. Внутреннее самоопределение, утяжеленное танатологическим сознанием, особенно проявилось в восприятии исторических событий. 1917 год переживается просто катастрофически.

Революцию я пережил трагически, как гибель того, что было для меня самым дорогим, сладким, радостным в русской жизни, как гибель любви. Да, для меня революция именно и была катастрофой любви, унесшей из мира ее предмет и опустошившей душу, ограбившей ее. <...> Я любил Царя, хотел Россию только с Царем, и без Царя Россия была для меня и не Россия. <...> И мысль о том, что в Царьград может войти Временное Правительство с Керенским, Милюковым, была для меня так отвратительна, так смертельна, что я чувствовал в сердце холодную, мертвящую пустоту. Я не был «монархистом» <...>. Но у меня было на душе так, как бывает, когда умирает самое близкое, дорогое существо, после безнадежной продолжительной болезни [1, с. 85–86].

Таким образом, идейная смерть стала для него мостом меж двух жизней, о котором удачно сказал П. Я. Чаадаев: «Христианин беспрестанно переходит с неба на землю, с земли на небо: кончит тем, что останется на небе» [18, с. 171]. Пройдя по нему, он возвращается к религиозной жизни, но уже на новом для себя этапе — христианского богомыслия, обращая все свое сердце и весь свой ум к разработке философско-религиозной проблематики. Написание им «Двух градов», «Тихих дум» и, наконец, «Света не вечернего», посвященного памяти ушедших (усопших) отца и матери, — яркое тому подтверждение.

В «Свете не вечернем», в этом монументальном философском труде, осмыслившем много «ломанного и сложного», встречается невероятное биографическое откровение — описание смерти любимого сына. Тяжелая, острая,

неподъемная смерть Ивашки — белого, светлого, святого, самого любимого сына. Это событие подробно описывается в форме «интимного письма»: боль, гроб, похороны с несением тела на кладбище, с одновременным служением литургии и, конечно, с собственными мыслями.

«Нелегка ты, жертва Авраама», не из благополучной, но из растерзанной души исторгался пред лицом невинной жертвы вопль мой: прав Ты, Господи, и правы суды Твои! А я это говорил всем сердцем своим! О, я не бунтовал и не роптал, ибо жалок и малодушен был бы бунт, но я не хотел мириться, ибо постыдно было бы и примирение. Отец молча ответил мне: у изголовья его тела стало Распятие Единородного Сына. И я услышал этот ответ и склонился пред ним [8, с. 27].

Да, именно во время стояния у гроба, когда он, отец, смотрел на образ распятия, Отец Небесный посылает ему великое утешение. Это озарение не описано им подробно, но можно предполагать, сколько христианских смыслов оно заключало в себе. Булгаков догматически осознает эту родную *смерть* как каплю в потоке многочисленных смертей людских, как момент всемирной драмы, необходимость соучастия через сына в смерти Христовой, собственно как отблеск надежды на свое и сына Воскресение с Ним. Разве вера в воскресение не соединяет их? Разве жизнь не сильнее смерти? Разве жизнь не побеждает «вечно» цветущую смерть — это повреждение творения, которое соделал нам Адам? Или в жизни самого человека вера, а о воскресении вопиет только она, уступает чувству (боли, лишения, горечи) и разуму (констатации факта смерти)? Он, по собственному признанию, воочию услышал голос Божий. Нужно жить и свою болью утишать боли других людей, жить, делом и словом проповедуя кенозис. Живи, переживай жизнь —

только подвигом, крестом целой жизни могу я рассеять это облако, — оно может рассеяться, это я тоже знал достоверно, оно есть тень моего собственного греха, ибо ведь я сам распял его своими грехами. И об этом говорил он мне в ту голгофскую ночь: «Неси меня, папа, кверху, — пойдем с тобою кверху! О, пойдем, пойдем, дитя мое, мой вождь, учитель, ангел — хранитель мой!» [8, с. 28].

Эту смерть он называет своим «учителем», учителем любви, через нее к нему приходит осознание подлинной любви. «В новом, никогда доселе неведомом ясновидении сердца — вместе с крестной мукой сходила в него небесная радость, и с тьмою богооставленности в душе воцарялся Бог» [8, с. 28]. Последующие события жизни Булгакова протекали в целостном единстве и «взаимовосполнении» ее двух слагаемых — священства и творчества.

С одной стороны, смерть преодолевалась им пасхальной православной верой в Бога, в Воскресение Христово и тем, что его неудержимо тянуло к алтарю, к Литургии — пути от рождения через смерть в жизнь вечную. На этом пути страшный, «обращенный к небытию» лик смерти сменяет «другой ее лик — светлый, мирный и радостный, ведущий к свободе, к божественному откровению и грядущему воскресению» [4, с. 32]. Здесь центральный антропологический момент: любовь к человеку не превышает и не замещает у него любовь к Богу. И это самое главное: нужно жить — Бог реален. «Кладбище и госпиталь являются неизменными спутниками человеческого существования,

причем одно не упраздняет другого» [4, с. 22]. Но православие потому и называется Пресветлое Православие, что оно скорби, и смерть, и многие другие ограничения жизни превращает в праздники. С другой — яркое и невероятно насыщенное творчество парижского, софиологического периода есть подтверждение, что смерть Булгаков преодолел нелегкой философской работой.

И все же сознание смерти требует богословского решения, то, в каких выражениях оно последовало у С. Н. Булгакова, иначе как *апологией смерти* не назовешь. Он утверждает, что

смерть должна быть понята не отрицательно, как некий минус мироздания, но положительно, как вытекающая из самого его основания <...>. Человек не выдержал обладания свободой, которую почтил его Творец, и в падении своем он утратил свое духовное равновесие, сделался рабом своего естества, а это рабство и есть смерть и смертность [4, с. 28].

Таким образом,

смерть явилась благодеянием Отца, который не восхотел дать бессмертия злу. <...>. Поэтому смерть, устанавливающая естественную прерывность во всех человеческих делах, а также налагающая неизбежную печать и на все человеческое творчество, спасает человека и от непрерывности в творчестве зла, а тем ослабляет, парализует его силу [8, с. 466].

В целом его догматическая интерпретация смерти ортодоксальна, хотя и выражена в спорной софиологической терминологии, дающей повод к мысли о богословском «повторе» или онтологическом удвоении учения о природе Богочеловека Иисуса Христа. «Смерть есть крайнее зло, «последний враг», но она не есть полное истребление жизни. Ибо Мать-Земля неистощима в своих рождениях, снова и снова порождает жизнь, ибо она есть становящаяся София» [8, с. 375]. Что касается софиологии, на этот счет есть суждение Александра Шмемана, что

София <...> не нужна, и не нужна, прежде всего, самому богословию о. Сергия. Она воспринимается, <...> как какой-то чуждый и надуманный элемент в его писаниях. <...> Ибо все то, о чем он пишет, что составляет тему и вдохновение всего его творчества: <...>, все это не «нуждается» в Софии [19, с. 21].

Однако все же тему смерти Булгаков обсуждает именно в этой категориальной — софийной — матрице, посвящая ей ряд работ. Для него существенно обосновать, что «человеческая смерть есть расторжение тела, возвращаемого земле, и духа, временно ведущего жизнь без тела и проходящего в ней неведомую стезю опыта» [8, с. 375]. Откуда следует, что все его почившие любимые живут, но только при этом они, в отличие от нас, проходят стезю неведомого нам опыта, да и «самое главное — до смерти надо созреть, как к состоянию жизни, каковым она является» [4, с. 32].

Вскоре после операции в 1939 г., грозившей окончиться смертью, Булгаков пишет работу «Софиология смерти», составившую главу в труде «Невеста агнца», в которой, как верно подмечает С. С. Хоружий, освещение смерти «является у него глубоко личным, мистическим и христоцентрическим» [17,

с. 844]. *Последняя истина* булгаковской софиологии смерти также наполнена сугубо положительными коннотациями, смерть в ней провозглашается «врагами бессмертия», через которые мы все пройдем с необходимостью.

В этой работе богословская спекуляция С. Н. Булгакова сосредоточена вокруг парадоксального вопроса: как понять кенозис — смерть Бога? Есть ли она вольное Его самоуничуждение и самоумаление или чем-то предопределена? Его ответ:

Бог в Богочеловеке как бы оставляет Божественную Свою полноту, как бы перестает быть Богом, но в то же время сохраняет во всей силе Свое Божество. <...> Бог и не-Бог вообще есть предельная тайна самооткровения Божия [3, с. 18–19].

Эта антиномия пронизывает буквально все отношения Бога к миру и человеку.

Откровение Богочеловека для нас является поэтому неизбежно и откровением Его смерти в нас, и нам надо постигнуть всю безмерность Его жертвенной любви к нам в Его со-умирании с нами. Но это возможно лишь через наше со-умирание с Ним [3, с. 20].

Наша смерть, благодаря со-умиранию с Ним, есть то же, что в нас оживает Его Жизнь и мы приобщаемся жизни вечной. В этой удачной формуле дается возможность ощутить не только близость человека к Богу, но еще больше — близость Бога к человеку, и таким образом подводится христианское онтологическое обоснование смерти. Бог объявляется условием онтологического «оправдания» смерти, потому что Он — Путь, Истина и Жизнь — принял смерть. Как отмечает по этому поводу Л. А. Зандер, приверженец и систематик учения Булгакова, «смерть Христова, как предельный момент Его кенозиса, является той точкой, в которой с наибольшей силой ощущается близость Богочеловека к человеку» [11, с. 137], близость человека к спасению. Христос с каждым и в каждом со-умирает. Подразумевается, что Бог потому и принимает природу человека, что тем самым Он испытывает, проживает не просто Свою индивидуальную смерть, но, поскольку Его человечество универсально и заключает в себе человечество всех людей, то и смерть каждого отдельного человека есть одновременно и Его смерть: Его умирание с нами и наше — с Ним. С этой, богословской позиции смерть — точка необходимого соприкосновения человеческого с Божественным, общее звено их нераздельного единства.

Ибо, как умирание, смерть Христова есть именно человеческая смерть. В предельной мере кенозиса очеловечивается оставленный Богом, в умирании со-влекшийся обожения Христос. Богочеловек в умирании есть человек, Божество которого от Него самого сокрыто, — оно сокрывается и для нас, чрез Него обожаемых. В смерти Христос пребывает с нами как бы на одной линии, — человеческой беспомощности, страдания и ужаса во тьме сидящих [3, с. 34].

Утверждая, что онтологически «смерть человеческая есть и смерть Христова» [3, с. 18], Булгаков предвосхищает выводы, впоследствии сделанные в протестантском «богословии смерти» Э. Юнгеля:



Бог, однажды претерпевший смерть, больше не освободится от смерти, поскольку смерть не должна больше освободиться от него, от Бога. Поэтому куда приходит сегодня смерть, туда приходит также сам Бог. Так Бог умертвляет смерть [20, с. 34].

Следовательно,

для каждого из человек не только неотвратно, но и спасительно это вкушение смерти, ибо лишь только так может осуществиться приобщение к смерти Христовой, а стало быть и к Его воскресению. Зерно пшеничное не оживет, если не умрет [4, с. 31].

Эта постоянная борьба и тесное взаимодействие жизни и смерти, Жизни и смерти, умирания и воскресения с очевидностью раскрывают дуалистическую онтологию концепции Булгакова.

Специфично, что Булгаков, говоря о страданиях и смерти Бога, акцентирует внимание на их антропоморфическом измерении. Он буквально настаивает на свидетельстве антропологических данных с их беспощадной и страшной правдой об умирании и смерти Богочеловека. В болезнях, страданиях, но особенно в смерти величие и красота приносятся в жертву и в ней «потрясает именно уродливость» [4, с. 25]. При этом Булгаков распространяет этот «антропо-онтологический» подход и на тринитарную плоскость. Он продумывает смерть Бога Сына в Троическом взаимоотношении как соучастие в ней Бога Отца и Бога Духа. Смеем предположить, личные переживания настолько сковывали или раскрепощали его сознание, что он буквально переносит свои сыно-отцовские отношения на внутритроичные отношения, допускает кенозис Отца и Святого Духа. «Нельзя даже сказать, — говорит Булгаков явно по человеческому разумению, — что Сын страдает, а Отец не страдает, или что Первый страдает больше, а Второй меньше, оба вместе со-страдают» [3, с. 26]. Смерть Сына видится им высшим для нас людей актом любви, приоткрывшим тайну внутри-троической Жизни, Божией любви — Святой Троицы: «Отчая любовь замыкается для Сына в Его наивысшем страдании, и это есть величайшая жертвенность любви Отчей» [3, с. 28]. Соучастие Отца и Св. Духа в оставлении Сына проявляется в непостижимо-противоречивом для их ипостасных свойств жертвенном «бездействии». «На человеческом языке нет даже слов, чтобы выразить эту невозможность любить для самой Любви, и нет мысли для ее постижения» [3, с. 30]. Осознание, или, как говорит философ, «предузнание» человеком этой сопричастности Богу крайне необходимо, поскольку открывает нам предельные смыслы нашего человечества

в его глубинных и страшных безднах, в свете смерти являет нам нас самих. И кому дано приблизиться волею Божией к этому краю бездны, да будет он вестником оттуда, которое для каждого некогда станет *туда и там* [3, с. 34].

Можно либо пытаться избегать смерти, например делая ее предметом наблюдения (сегодня виртуального), либо, напротив, делать ее темой познания. Верно, что смерть есть противоречие в определении «чело-века», который задуман от вечности к любви и бессмертию, но вынужден жить, расставаясь,

оступаясь, и умирать в конечности. Недаром осознание смерти порождает у человека чувство ужаса перед нею. По утверждению Хайдеггера, «люди озабочиваются превращением этого ужаса в страх перед наступающим событием» [16, с. 254]. Но не менее верно и то, что «постижение негативности смерти уже предполагает, что мы несколько поднимаемся над нею» [15, с. 110–111], оно помогает нам бросать ей вызов. В любом случае смерть обуславливает экзистенциальное — серьезное — существование человека. «Со смертью присутствие стоит перед собой в его *самой своей* способности быть» [16, с. 250]. В полной мере в каждом мгновении жизни она являлась грозным противоречием любви для пылкой души Булгакова, заставляла его не только экзистенциально самоопределяться, но одновременно получала в его творчестве мощный человеческий ответ: «смерть, где твое жало?». **Личное Сергея Булгакова всецело определило его догматическо-философское выражение смерти.** Он попросту отказывается от рассмотрения умирания и смерти вне их антропологических категорий, точнее, сугубо **и глубоко личностных переживаний и рефлексий.** **Может ли быть по-другому у человека, осмысляющего жизнь, оказавшуюся переполненной мерой смерти, во всегда конкретном «Познай самого себя»?** По слову Платона, люди, сами того не понимая, находятся в узах смерти, и только философы, осознавая ее причину — любовь к страстному телу, ради вечной жизни постоянно очищают себя и сознательно «заняты только одним — умиранием и смертью» [12, с. 14]. Не одними философскими измышлениями руководствуясь, но единственной, годами испытанной, можно сказать, по-человечески дерзновенной, неусыпной любовью к Богу, ко Христу, он победил, подобно Сократу, печаль смерти, победил своим глубоким танатологическо-апокатастасным богословием, в котором оправдание получает даже предатель Иуда [6, 7], и тем самым оставил нам драгоценный «бриллиант» осмысленной веры в то, что для каждого человека — **нетварно-тварной Софии** — в его жизненной и сознательной вовлеченности в кенозис Христов, т. е. в несении креста своей жизни как жизни совместной и неотъемлемой от жизни Сына Человеческого, открывается утешающая, радостная и уже непреодолимая — Его жизнь.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Булгаков С. Н. Автобиографическое // С. Н. Булгаков: pro et contra. — СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 2003. — С. 63–111.
2. Булгаков С. Н. Письмо к П. А. Флоренскому // С. Н. Булгаков: pro et contra. — СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 2003. — С. 159–188.
3. Булгаков С. Н. Софиология смерти // Вестник РХД. — 1978. — № 4 (127). — С. 18–41.
4. Булгаков С. Н. Софиология смерти // Вестник РХД. — 1979. — № 1, 2 (128). — С. 13–32.
5. Булгаков С. Н. Ялтинский дневник // С. Н. Булгаков: pro et contra. — СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 2003. — С. 112–143.

6. Булгаков С.Н., прот. Иуда Искариот Апостол-Предатель // Путь: Орган русской религиозной мысли. — 1931. — № 26. Февраль. — С. 3–60.
7. Булгаков С.Н., прот. Иуда Искариот Апостол-Предатель // Путь: Орган русской религиозной мысли. — 1931. — № 27. Апрель. — С. 3–42.
8. Булгаков, С. Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. — М.: Директ-Медиа, 2014. — 564 с. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238402> (дата обращения: 24.10.2022).
9. Варламов А. Н. Имя Розанова. — М.: Молодая гвардия, 2022. — 501 [11] с.: ил.
10. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина — М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998–288 с.
11. Зандер Л. А. Бог и мир (миросозерцание отца Сергия Булгакова). — Т. I. — Париж, YMCA-PRESS, 1948. — URL: [http://www.odinblago.ru/bog\\_i\\_mir1](http://www.odinblago.ru/bog_i_mir1) (дата обращения: 24.10.2022).
12. Платон. Собрание сочинений в 4 т. — Т. 2. — М.: Мысль, 1993. — 528 с.
13. Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. — Т. 2. — М.: Мысль, 1990. — 822 с.
14. Федоров Н. Ф. Сочинения / сост., вступ. статья и прим. С. Г. Семенович. — М.: Раритет, 1994. — 416 с.
15. Фишер Н. Философское вопрошание о Боге. — М.: Христианская Россия, 2004. — 413 с.
16. Хайдеггер М. Бытие и время. — М.: Ad Marginem, 1997. — 451 с.
17. Хоружий С. С. София — Космос — материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова // С. Н. Булгаков: pro et contra. — СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 2003. — С. 818–853.
18. Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. — М.: Правда, 1991. — 560 с.
19. Шмеман А., свящ. Три образа // Вестник РСХД. — 1971. — № 3–4 (101–102). — С. 9–24.
20. Юнгель Э. О смерти живого Бога // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX века: тексты с комментариями / сост., авт. введ. Кристоф Гестрих; пер. с нем., авт. вступ. статей К. И. Уколов. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. — С. 512–537.